

12 АПРЕЛЯ 1989 г.

— Юрий Борисович, прежде всего о самом главном: как сегодня обстоят дела с вашим фильмом «Шинель» по повести Гоголя? «ЛГ» писала о его трудной судьбе. Известно, что он уже два года законсервирован...

— Практически никак. Правда, в декабре 1988-го после бесконечных отказов и проволочек Моссовет дал разрешение на создание в доме Тарковского музея и мастерской, в которой, может быть, я наконец смогу работать. Да и то не скоро.

— Вы как будто и не рады?

— У меня уже нет сил обрадоваться... Я столько раз верил, радовался, а потом был обманут. И так долго смотрел в глаза, исполненные равнодушия... А, собственно, почему равнодушия? Казалось бы, мой послужной список, вполне приличный, оправдывает и как-то поддерживает меня. В чем дело? Я не знаю. Наверное, надо спросить у тех, от кого зависит моя судьба. Вообще ужасно, что твоя судьба от кого-то зависит. Как сказал Дон Кихот: «Блажен тот, кому небо посыпал кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба!» А мы все время обзаны, мы в положении просителя. Непрерывная кошмарная война за возможность осуществить кинокадр. Хотя, в сущности, Госкино — исполнительская организация, и все службы, все усилия его гигантского механизма должны быть направлены на этот маленький кинокадр.

— Несмотря ни на что, вы отказываетесь от заманчивых предложений закончить фильм в других странах. То есть, говоря вашими словами, вам нужен «свой климат», нужна «крана»?

— Обязательно!

— Представим, что наше общество решило все свои больные проблемы и предоставило гражданам желанный комфорт. Сможете вы в этом случае снимать такое кино, как «Шинель»?

— То, о чём вы говорите, нам не грэйт. Во всяком случае, в ближайшие сто лет. Но если и предположить, то и тогда мировые проблемы, которыми болела русская литература XIX века, останутся выше быта. Все равно мы будем решать их и познавать истину. Развитой человек не может жить с ощущением полного душевного благополучия. Любой — не только художник. Он должен быть много выше того, что его окружает. Если этой разницы не будет, нация умрет... Мне кажется, в России, имеющей великую литературу, такой угрозы нет.

— Должен ли художник творить на зло: буяни, участвовать в житейских конфликтах? Я, признаюсь, удивилась, узнав, что вы ведете общественную работу...

— Мне самому странно. Я совершенно не общественный человек и привык работать в тишине, почти один. Я не оратор, не оракул. То есть могу выступать на встречах, когда вижу необходимость того, что говорю, и мне нужны вопросы, которые идут из зала. Если просматриваешь это как общественную деятельность, я человек общественный. А в работе и в обычной жизни хочется уединения. Но я, секретарь правления Союза кинематографистов СССР, не скажу, что очень активный, хотя что-то делаю. С большим счастьем поменяю свое секретарство на нормальную каждодневную работу, к которой, собственно, все мы привыканы.

А вообще что такое общественная работа? Поеzdка Чехова на Сахалин — общественная работа? Не была ли это самостоятельная творческая командировка, как у нас пишут, по тревожному письму? Но эта тревога и это письмо были у него в сердце. Послание он получил давно, может, еще от Радищева. И тут Чехов — человек общественный. Публицист. А с другой стороны, поэзия его тихая, но невыносимая по тяжести и боли. Наверное, дневники Достоевского тоже общественная работа, но с привлечением каких мировых вопросов!

— Как вы думаете, судьба, если она есть, справедлива к человеку? И верите ли в судьбу? В Бога?

— В Бога?.. Нет, не в Бога я верю. Хо-

тят хорошо верить — это действительно крыша над головой. Но религия — вопрос выбора, а не чуда. Мы, скорее, верим в чудо и хотим чуда более, чем возрождения самих себя, в чем, собственно, и заключается суть религии. Она предложена нам как средство примирения нас с самими собой и с миром. Но в большей степени мы себе сочиняем Бога для того только, чтобы было покойно жить. И это дает силы. Но если религия дает еще и ощущение бесконечности жизни, выводя ее координаты за пределы своего физического существования, и если эта запредельность дает тебе гармонию, то существует ли жизнь после смерти, доказуема ли она — не имеет значения... Как только один человек сострадает другому, появляется Бог. Но что бы мы ни говорили об этом, до истины добремся мы не покорной верой в чудо, а выполнением нормальных человеческих обязанностей.

А судьба... Судьба, наверное, заболела у нас в стране. Не можем же мы говорить о ее справедливости к миллиардам невинно уничтоженных. Пока вера в Бога имеет больше логики и гармонии, нежели вера в создание для всего человечества некоего рая на земле.

Мне всегда бывает неловко, когда главы государств, обмениваясь посланиями, желают процветания благополучия. И не потому, что люди не должны уверенно и спокойно жить, а потому, что «процветание и благополучие» мгновенно подхватывается усерднейшим обывательским умом, переводится на свой уровень, и тогда появляется зависть к тем, кто хорошо ест, хорошо одевается, все может купить. И с этим связываются гармония и счастье. Но для тех немногих, кто выходит за пределы внешнего «благополучия и процветания», никогда никакое общество не будет гармоничным. Они непрерывно устремлены за границы познаваемого, за пределы расчёта, в область, где никакая материя недоказательна. Такой человек действительно строит сам свою судьбу и сам к ней устремляется. Скажем, Высоцкий и Тарковскийдвигались по своей судьбе по наитию, абсолютно спокойно сознавая финал, начертав его в поэзии и кинематографе. Бессстрашие перед жизнью и смертью, может быть, и есть судьба?

— Но может ли просто жизнь быть самоцелью? Жизнь не ради высокой цели, а ради самой жизни? Ради родных, ради детей?

— И это самое простое и прекрасное, что может быть и к чему бы человек привел. Если мы не придем к этим простым вещам — по-моему, Достоевский говорил, что семья уже девяносто процентов счастья, — мы ни к чему не придем. Тогда не будет никакого ядра, тогда что нам защищать? Ради чего, собственно, истреблять энергию, данную нам от природы? А ее надо истребить.

— Юрий Борисович, если отстраниться от трудностей с фильмом «Шинель», все остальное, что с вами произошло и что ушло, — дом, семья, дети, друзья, — все устраивает?

— Да как устраивает... Вспоминаю, когда мне было двадцать лет и я сидел у себя дома в Марьиной Роще, в маленькой комнатке у окошка, занимался живописью после того, как приходил с учебы или с работы, — это было упражнение, с которым не сравнялся ни одно из последующих мгновений жизни. С тоской думаю: зачем я оставил живопись? Ты не должен ни перед кем отчечиваться, обязан только самому себе, своей отваге, своему недовольству, своему сопротивлению, и ничему более. В последнее время с горечью понимаю — вот выросли дети, а я мало с ними знаком...

— У вас ведь сын и дочь?

— Да. Сын сейчас в армии, дочь учится в школе-студии МХАТ. Но меня не покидает ощущение, что я разошелся с ними, недостаточно был близок им. Вечное напряжение, из-за которого приходишь домой разраженный. Когда порой не хочется звонить друзьям... А кто страдает боль-



Лит. газ. - 1989. - 12 апр. (№ 156). 8

шее чем твои близкие? Можно ли быть довольным такой жизнью? Вряд ли.

Наверное, кто-то подумает, что у меня вполне благополучная жизнь. Ну что же, фильмы снимал, каким хотел, и они ну очень честные. Все так. Но ведь фильм — это вообще все, чем занимаешься, не для того только, чтобы это делать. Не в этом смысле. Можно, конечно, называть искусство частью жизни, но это фальшиво и неточно. Наверное, искусство есть не прерывное приближение к тому, что ты не в силах даже сформулировать. Может быть, это называется религией? Жизнь духа? Трудно сказать. Но, занимаясь искусством, ты как бы греешься у огня, который сам разжег. Стремишься понять что такое, что не понимаешь просто жива, просто размышляя, просто гуляя в лесу, видя дождь, землю, снег... Стремишься отдать себя от самого себя и представить жизнь, которая вокруг течет, более объективно — через искусство. Это самое важное и выходит за пределы мультипликации, кинематографа и приближается, вероятно, к тому, что называется культурой. И даже выше культуры! Называя отражение окружающего мира культурой, мы попадаем в очередной замкнутый вадоворот, нас опять носит мимо берегов, мимо выхода за пределы жизни... Не думаю, будто для того, чтобы быть подлинно культурным, вернее, ощущать себя действительно радостным человеком, надо непременно овладеть всем запасом знаний, накопленных человечеством. Нет. Можно и безграмотным видеть эту радость. Значит, дело в другом. А в общем, все сводится к очень простому — к ощущению другого человека, глядывающего в него, как писал Гоголь, как в святыни. Но как сегодня, свободиться от непрерывной гонки и действительно успеть взглянуть на человека? Можно не успеть. В этом смысле жена, конечно, тот единственный гармоничный человек, который и даёт нашим детям ощущение неизбывности мира.

— Ваша жена работает вместе с вами?

— Да, она художник-постановщик фильмов.

— И сейчас она тоже без работы?

— Она не хочет, вернее, не может и, по-моему, не сможет работать ни с кем другим из режиссеров.

— Знакомо вам ощущение гармонии, счастья?

— Да! Но это несколько минут. Мгновение. Счастье может быть от глотка свежего воздуха. Ты вышел на улицу, а снег белый! Это и есть та прекрасная простая радость. Помню, на «Сказке сказок» был период, когда я не шел на работу, а просто летел, не замечая дороги. Наступила зима 1979-го, когда была преодолена самая тяжелая часть фильма. Я вдруг резко разорвал цепь боязни и сомнений. Непрерывный внутренний диалог с администрацией, постоянные доказательства своей правоты приводили только к тому, что я приходил на работу измученный. А потом наступил момент, когда я понял: лучше умру на этом стремлении к фильму, чем буду вести мысленную полемику с начальством... Шел на работу. И увидел, как по ровному снежному полю ходят вороньи, разваливая грудью чистый снег. Какое огромное наслаждение им это доставляло! И

— Какие взаимоотношения у вас с музыкой?

— Мои пристрастия вызваны работой. На «Сказке сказок» был Бах, на «Шинели» — Шостакович, последние квартеты и сонаты Моцарта, его симфония «Опера», где счастье и трагедия составили единное ядро, ощущение жизни полно, а беспристрастие — абсолютно. Некоторые квартеты Шостаковича дают мне ритм движения — в них впрессован бесконечно трагическая программа. Седьмой квартет для меня как бы весь фильм. Все время слушаю его, стараясь надышаться этой музыкой. Шостакович сам говорил, что некоторые произведения Чехова имеют завершенную музыкальную форму. Очевидно, кино тоже должно подчиняться этому закону.

Но я не всеяден в музыке. Не спешу услышать все новое и быть тут с веком наравне. Думаю, понятие «быть с веком наравне» не означает схватывать все самое свежее, только что из огня. Я же восхищаюсь искусством иных эпох. Та бессознательная энергия, тот религиозный экстаз, которые заложены древним художником, вряд ли воспринимались его современниками так, как переживаются нами, из сегодняшней быстротекущей жизни. Очевидно, кино тоже должно подчиняться этому закону.

— А что помогает избавиться от плохого настроения, от стресса?

— Чаще всего убегаю в лес. И жду, чтобы была склонная осень, за шиворот текло и я ощущал всю атмосферу зябкости. Потом прийти домой, выпить горячего чаю. Летом, после грозы, хорошо что прибежать на дачу — мы снимаем

Юрий НОРШТЕЙН:

БЕССТРАШИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ...

Крупнейший режиссер-мультипликатор, автор «Ежика в тумане» и «Сказки сказок», лауреат Государственной премии СССР, последние годы отдал фильму «Шинель». Перспективы этой работы пока неясны...

дачу в деревне — и у огня погреться. Важно ощутить быструю природную связь. И все плохое уходит.

В городе это ужасно. Так трудно из себя изъять... Главное — не успеть кого-то из близких обидеть. Лучше остаться одному, походить по улицам, встретить чьи-то взгляды. Очень хорошее лекарство. А нужно немного: чтобы на твоих глазах произошло что-то незначительное, но скрепляющее человека с человеком. Самое простое: кто-то уступил кому-то место в метро, добро передалось по цепочке, совершилось в секунду, и ты вдруг понял — это твои непрятности относительно... Или беру сонеты Микеланджело, «Книгу скорбных песнопений» Григория Нарекаци... Помогает то, что скрепляет с жизнью людей. Тогда успокаиваешься.

— А лень вам знакома?

— Еще какая! Когда начинаешь работать, сделаешь все, чтобы не начать работать. Будешь прибирать, перекладывать, воображая, что именно это мешает. Если пол не подметешь, доску не обстругаешь... Потом отвлекает другое. Трудно сесть в работу. Но когда вошел, невозможно выйти. На втором фильме «Шинели» она становится величайшим наслаждением и радостью. «...И в сладкой тишине я сладко усыпан моим воображенiem, и пробуждается поэзия во мне...» Дивное состояние, за которое можно платить и жизнью. Вернее, надо платить жизнью.

что чаще находишься во взвинченном состоянии и боишься, что оно захлестнет тебя, сделает немым даже с близким человеком. Есть люди, которым не боишься рассказать скропленное, твердо зная — это дальше не прорастет. Желание говорить, даже исповедоваться в том, что тебя угнетает, естественно. Но тут свой эзотеризм: отдаешь то, что близкий человек должен где-то в себе держать. Как ни парадоксально, взаимоотношения людей тают большую долю эгоизма, и тут ничего не поделаешь. А творческий человек занят собой в огромной степени. И мучительно переживает, что не способен отдаваться этому целиком.

— Вы честолюбивы?

— Конечно. Не верю, что можно прожить, не будучи честолюбивым. Иначе не стал бы волноваться по поводу «Шинели», а просто забросил все. У меня на каждом фильме наступает момент азарта. Когда снимал первый — «Лиса и заяц», — стремился сделать добродушное кино, хорошо рассказать сказку. И не прозаическим путем, а сознательно идя на риск, через откровенную стилистику. Таким кино и получилось. На втором фильме — иное честолюбие: доказать, что первый не был случайностью. Так ведь? А когда сделаны первые два, начинаешь мыслить совсем на другом уровне. Приходит понимание — ты владеешь некоторыми средствами. Что

дальше? Развивать найденное? Но это чисто формальное развитие: ты разрабатываешь средства, забыв о том, куда все должно стремиться. Поэтому третий фильм — «Ежик в тумане» был уже попыткой выйти на более серьезные вопросы, хотя, казалось бы, сюжет незамысловатый, не-глупый.

А потом я вдруг возвратился к идеям, которые во мне бродили, когда я занимался живописью, и к дому, в котором жил. Мне захотелось работать там же, как поэт, который пишет стихи о самом себе или воспоминания о своей жизни, потому что она есть и очень важна; все, что связано с ней, для него сейчас самое главное, что существует в мире. Вот отсюда «Сказка сказок» — рассказ о том простом, мимо чего проходит человек только потому, что не понимает: в этом-то и есть жизнь.

Ну, а «Шинель», идея которой вышла из «Сказки сказок», возникла потому, что в практической работе я вдруг обнаружил новые художественные средства мультипликации, о которых не подозревал. «Шинель» стала проявлять их.

Посмотрев материал фильма, я понял — каждый человек, даже самый дурной, после него здумается над собой. А когда фильм начнет жить среди нас, он изменит людей, изменит общество...

— Я все-таки не до такой степени честолюбив... И нет желания что-то там менять во внутренней цепочке человека. Идеология, мораль должны впрессовываться извне, а прорациваться изнутри. Важна самостоятельная работа человека. Пусть забудет о кино и даже не поймет, что кино на него подействовало. И Бог с ним. Но в этом дело... Важно одно — сделать фильм. В меру сил. Остальное от тебя не зависит.

Хорошо, снимете вы «Шинель», что потому?

— Не хочу быть настолько глубокомысленным, чтобы сейчас уходить вдаль, за «Шинель». Хотя есть идеи. Сейчас, как никогда, ощущаю мультипликацию, ту, которую бы делал, как нечто, не бывшее еще на экране. Мне кажется, можно делать библейские мифы: книги Иова, легенду о Иосифе и его братьях... И только мультипликацией! Потому что ее изобразительная материя превосходит по энергии, по воздействию игровое кино. В ней нет приверженности к натуре, она более фантастична. Фантасмагорична. А как ни странно, то, что содержит больше вымысла, долговечней. Ощущение, что сейчас вся ее энергия скручена внутри и мы еще не поняли, что она такое. Пока тайна... Но если фильм «Шинель» получится не тем, каким мне трезвись, я вообще оставлю это занятие.

— И что тогда?

— Но понимаете, можно найти способ зарабатывать деньги. Я не хочу замыкать жизнь на кино. Да об этом рано говорить — мне же еще четыре года работать над «Шинелью» или более того. Хватило бы жизни... Вообще хотел бы на этом истребить себя. Все! Что еще нужно? Я очень надеюсь, что фильм будет продолжен.

— Перестройка поможет вам?

— Да не перестройка должна помогать! Не перестройка, а конкретные люди должны решать мою судьбу. И вообще осознать необходимость перемен. Если осознание придет к ним напором через письма, через газеты или откуда-то из-за рубежа